



Е.Д. Богатырева

ТЕХНОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА: ПОДТЕКСТЫ НОВОГО

(Самарский университет)

Когда-то в двадцатые годы русский авангард, грезя о фабриках и заводах, продумывал радикальные эксперименты с конструированием новых художественных вещей. Для этого потребовалось обнулить значение старых вещей, перевести их либо в разряд «существуют, но не имеют значения», либо найти им «новое значение», а значит, дать буквально право на существование, политическое «существую» во многом начинает определять здесь физическое. В результате такой практики вещи, будь то вещи природы, культуры, денатурализируются, выводятся из-под юрисдикции старой онтологии вещей и отношения к ним. И хотя это во многом ещё воображаемый процесс, право на будущее («мы новый мир построим»), он имел самые серьёзные последствия.

Собственно, новое в XX столетии определялось сознанием того переворота в состоянии вещей (насильственно изъятых из своих контекстов, либо как-то ещё потерявших свои связи с привычным и традиционно поддерживающим их окружением), который произвели две мировые войны, революции, идущий с ними рука об руку научно-технический прогресс, последнему обязаны многие преобразования общества и культуры. Отметим, что опыт разрушения старого мира в прошлом столетии оказался здесь провокатором усиления чувствительности к значению, породил интерес к проектам учреждения собственно знаковой реальности, которая включала вещи в новые структурные комбинации, реализуя далеко не однозначные, как показала история, отношения части и целого, вопрос о которых до сих пор открыт пересмотру и истолкованию. Важно подчеркнуть, что непосредственное наблюдение за тем, как сложные социальные системы в начале уже прошлого столетия редуцировались, сжимались, сокращались до своих неустранимых основ, стало антропологической основой, из которой рос интерес к базовым элементам, связям и структурам [4, 20]. А из этого интереса, в свою очередь, и вышел во многом русский авангард, который следует рассматривать как расширение русского модернизма, как разновидность общемировых модернистских проектов и практик.

Исследуя и запуская для производства нового мира семиотический механизм, русский модернизм в лице авангардных практик прошлого столетия зарезервировал новый порядок вещей как порядок целесообразных вещей. В искусстве стихийное разложение и сознательная деконструкция языковых и пластических средств на «первоначальные множители» сменились созданием новых художественных систем, которые видимым образом нарушали сложившиеся категории восприятия, заходили на территорию новых технологий, брали курс на обнуление привычек опыта и расширение контекстов собственного применения.



Форма как следствие функции здесь первое уравнение «качества» учреждаемого порядка. Составляющими процесса нового художественного производства выступают рационализация, механизация, стандартизация, мотивация, которая реализуется через задание технологии смыслового (целевого) кода. В пределе таковым может выступать социальная утопия нового мира, что в своём приложении производило эффект очищения используемых здесь средств от закреплённых за ними значений. К примеру, у отца русского модернизма Владимира Татлина можно найти принцип «материал диктует форму», в своих конструкциях - контррельефах – он наглядно показал, как можно трактовать антииллюзионистический посыл новых технологий. Его «материалы» направляют зрителя не к воспроизведению антропоморфного космоса, не к трансцендентным смыслам (к красоте, к религии, к Богу, как в тех же иконах, которая своей материальностью отвергает любые отсылки к реальному миру), а к имманентной реальности материала.

Призыв делать вещи функциональными и рациональными в русском авангарде связан не только с утверждением нового общего принципа существования искусства, но и с разработкой вопроса о связи формального эксперимента с коммунистическими принципами общественно-экономической организации в СССР. Драматическая история авангарда в отечестве здесь коррелирует с резким осуждением модернизма в Третьем Рейхе, общий момент - ревизионизм «неоклассики», которому будут вторить императив сплочения народа вокруг лидера, партии, государства, осуждение индивидуального видения, персонального стиля, личного спасения, обвинение в оторванности художника от масс. Такая политика, назовём её политикой против множественности, уничтожила множество шедевров модернистского искусства, сообщив им политический маркер «дегенеративного» (в нашей стране этим маркером стал «формализм»), сделала невозможным завершение «Памятника III Интернационалу» Владимира Татлина. Но сама исключительность модернистского жеста, многоканальность передачи, наконец, принципиальная незавершённость проекта модернизма будоражит умы художников во всём мире. Тот же памятник Татлина становится в своих новых реализациях символом неутомимого поиска и силы воображения человека. Впрочем, не всё так просто. К примеру, серию Дэна Флавина «Памятники Владимиру Татлина», которую он осуществлял в течение 26 лет с 1964 по 1990 годы (создано 39 памятников), используя лампы того формата, которые легче купить, нужно читать не только как оммаж русскому авангардисту и его утопическому проекту памятника III Интернационала. «Дело художника – познавать мир и создавать образцы возможного, а не единственно возможное», - говорил Татлин. «Эти памятники существуют лишь до тех пор, пока не перегорит лампочка», - говорит в конце XX века Флавин, указывая на зависимость существования искусства от характера производства его материального медиума (лампочка становится онтологическим пределом и местом пересечения различных технологий современного мира), от срока эксплуатации медиума, от обновления его эстетической оболочки. Сегодня татлинский



монумент легко выстраивается с помощью компьютерной графики в самом центре Москвы, как это можно найти в документальном фильме Майкла Крэга о русском архитектурном авангарде, но вопрос, не будет ли он здесь «памятником новым технологиям» и какой-то уже другой историей [1, 855].

Безусловно, то, что принято называть «модернизмом» (и его производными как «модернизация») отмечало курс на изменение наших поведенческих стратегий и способов восприятия вещей, он во многом содержал в себе отклик на научно-технический прогресс. Другое дело, что технологии здесь не определяли всю сумму ответов и мыслились, скорее, утопически, как вестники будущего, в котором будут разрешены все проблемы человека. За сто лет мир совершил огромный рывок в такое будущее, которым оказалось не просто управлять, человечество этому только учится. У той же культуры появились новые ускорители, информационные двигатели – компьютеры, которые, как кажется, навсегда вырывают нас из эры индустриального производства и забрасывают в эру транснационального корпоративного капитализма. Мир, где «всё-в-одном», если и не производит уже ощущения скомканного и запыхавшегося, то всё же вызывает множество вопросов по тому, как устроена (и как могла бы быть устроена) его информационная экономика, должна ли она сопровождаться повсеместной цифровизацией, чем это оборачивается для знания и чем здесь оказываются наука, философия, искусство, повседневность, не ведёт ли увеличение информационного поля к блокировке выбора, когда невозможно вычленив достоверную информацию, важную для жизни человека, и т.д.

Разрыв между старым и новым не исключает их противоречивого единства, история учит, что научно-технические достижения и ускорения в новое сопровождаются регрессом в примитивный тип культурного кодирования, что уже в начале XX века философы и писатели отмечали как варваризацию поведения, деградацию культурных навыков, утрату культурой своего морального статуса, оглушение масс и т.п.

Новый виток технологического развития, тем не менее, всё более зависит от наличия предсказуемых и управляемых систем, в которые включены по умолчанию и людские массы, и лаборатории учёных. Как заметит ещё в середине XX века Мак-Люэн, человек всё более превращается в «половые органы мира машин, позволяющими ему оплодотворяться и эволюционировать в новые формы» [3, 155]. Киберкультура подтвердит эти ощущения канадского теоретика и потребует искусственного интеллекта, готового встраивать тело в технические порядки реальности через ампутацию плоти, здесь мы находим мышление, способное вынести приговор миллионам жителей Земли, если это будет способствовать оптимизации системы. Противоречивый процесс соединения прогресса и регресса можно наблюдать в поле действия различного рода информационных мемов, и в поиске иммунитета против заражения ими, и в обсуждении инновационных технологий, которому, окажется небезразлично, какое тело у надежды на бессмертие, будет ли оно результатом действия на клеточном уровне «наномашин», или полностью механической формой жизни.



Если вернуться к вопросу о восприятии, то, как известно, в построении перцептивного образа традиционно участвуют такие виды восприятия как визуальное, аудиальное, осязательное (тактильное), вкусовое, обонятельное. Процессы памяти, мышления, воображения позволяют усложнять образ реальности, создают привычки, отвечающие за стабилизацию связываемых с ним значений. Новый образ социального действия закрепляется либо положительным образом, через повторение опыта, либо негативным способом в режиме чрезвычайных обстоятельств. Мир киберкультуры ориентируется и на то, и на это, предлагая человеку блуждать в мире новых определений и предложений, в мире множественностей. Отказываясь от патриархального дерева в пользу ризоматической структуры, организация нового мира привлекает пользователя доступом к самым разным возможностям виртуальной жизни, но зачастую и сбивает с толку наличием альтернативы.

Использование искусственного разума для ускоренного сбора и уточнения данных, моделирование параллельных процессов жизнедеятельности, позволяющих распределять управление и умножать соединения, в числе новых навыков, которым обучает новая реальность. При этом новые изобретения создают и последствия, которые могут не видеть разработчики и которые приходится учиться предотвращать, или хотя бы контролировать уже на ходу. Среди таковых изобретений следует упомянуть возникновение массового потребительского рынка для новых медиатехнологий, которые в лице тех же компьютерных игр формируют у пользователя наркотическую зависимость от доступных здесь эскапистских удовольствий и способов самоутверждения, которые, как заметит Эрик Дэвис, комиксам и ТВ-шоу не дано переиграть [2, 289]. ID-практики формируют «истину» вторичного мира, техномифа, из которого человек как всё ещё духовное существо, вполне возможно, и не захочет выходить, либо выход окажется уже затруднительным. А это уже задача для нового осмысления ситуации и комплексного реагирования, которое подразумевает более тесное сотрудничество специалистов разного профиля, совершенствование методов «игры в бисер» в исследовании реальности, выработку гибкой системы безопасности, на деле конкретных ограничений пользователя, что на выходе могло бы предотвращать дурные последствия, реализуя положительные возможности новых технических систем.

Литература

1. Вайнгурт, Юлия. Владимир Татлин: культура материала //Формальный метод. Антология русского модернизма. Том III. Технологии/ под ред. С.А.Ушакова. – Екатеринбург; Москва: Кабинетный учёный, 2016. С.851-874.
2. Дэвис, Эрик. ТЕХНОГНОЗИС: мир, магия и мистицизм в информационную эпоху. – Екатеринбург: Ультра. Культура, 2008. – 480 с.
3. Дэри, Марк. Скорость убегания: киберкультура на рубеже веков. – Екатеринбург: Ультра. Культура; М.: АСТ, 2008. – 478 с.



4. Ушакин, Сергей. «Не взлетевшие самолёты мечты»: о поколении формального метода // Формальный метод. Антология русского модернизма. Том I. Системы / под ред. С.А.Ушакова. – Екатеринбург; Москва: Кабинетный учёный, 2016. С. 9-60.

А.А. Гагаев¹, П. А. Гагаев²

РУССКАЯ ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ МОДЕЛЬ МЫШЛЕНИЯ.
ТРОИЧНАЯ ИНФОРМАТИКА Н. П. БРУСЕНЦОВА.
ТРОИЧНАЯ МОДЕЛЬ ЧИСЛА

¹Мордовский государственный университет,
²Пензенский государственный университет)

Аннотация. Модель русского открывающего и изобретающего человека: этноформа космологического принципа: мир прост и сложен, одного и разного рода, самосогласован и несамосогласован, системен и уникален, абсолютен и изменяется в модели общей и локальной законосообразности; модели вероятностного мышления А. Н. Колмогорова и А. А. Маркова; троичная модель информатики и истины Н. П. Брусенцова; эмпирические обобщения первого рода (Д. И. Менделеев); неевклидовы модели пространства-времени (Н. Лобачевский); космология А. А. Фридмана. Универсальная и локальная законосообразность; синтез лингвистики, философии и логики, физики и математики; методологические коллективизм, локализм, индивидуализма, уникализм, личное знание; система вывода и умозаключения от следствий к основаниям в системе субстратной рефлексии и космо-психо-логоса; антиномичный тип логики; дедукция, индукция и традукция и субдукция и едукция, продукция, совместимость, выводимость, следование. Система алетической и деонтической логики в моделях форм вероятности и в теории естественной, этнической, восстановительной справедливости.

Ключевые слова. Этнокультурная русская форма мышления, Н. Лобачевский, Н. А. Васильев, Д. И. Менделеев, А. Н. Колмогоров, А. А. Марков, Н. П. Брусенцов, А. А. Фридман.

Введение. Любые универсальные общенаучные методы имеют антропологическим основанием личность этнического открывающего и изобретающего человека, мыслящего в этничном языке и этническом КПЛ, этнической форме научного мышления, этническом наборе логик мышления и онтологий. Согласно Жоресу Алферову, наука делается следующим образом: физик наблюдает и открывает, математик обосновывает, инженер конструирует, токарь вытачивает деталь, а философ осуществляет демагогию и устраняет понимание. Де Бройль заметил, что открытия и изобретения он делает на французском литературном языке, а обосновывает в языке математики и физики (контекст открытия и контекст обоснования). Сочетание